

РЕНЦО ОЛИВА,
атташе по культуре Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге;
ФРАНКО ОЛИВА,
публицист, политолог

БУДУЩЕЕ КНИГИ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Предложенная тема, казалось бы, заключает в себе мысль о смерти книги или о ее постепенно возрастающем и неизбежном моральном устаревании в рамках изменения языков под влиянием новых коммуникативных инструментов. Размышление над данным вопросом требует от нас предварительно прояснить, относится ли смерть, которую мы со-

бираемся констатировать, к вербальному языку и к условиям, поддерживающим посредством его существование человеческих отношений, либо же к языку креативному, а также не являемся ли мы, напротив, свидетелями более глубокого изменения и менее предсказуемых особенностей процесса человеческого общения.

Хорхе Луис Борхес начал рассказ «О культуре книг», вошедший в сборник «Новые исследования», с цитаты из восьмой главы «Одиссеи», согласно которой боги создают злоключения, чтобы будущим поколениям было о чем петь, и добавил к ней утверждение Малларме: «Мир существует, чтобы войти в книгу». Борхес усматривал в этих двух «теологиях» существенную разницу, относя первую к эпохе устного слова, а вторую — к эпохе слова письменного. «В одной говорится о сказе, а в другой о книгах», — комментирует автор. Далее он возвращает нас в конец четвертого века, к заре мыслительного процесса, который достигнет кульминации в господстве письменной речи над устной, «пера над голосом». В поддержку подобного мнения он приводит довольно показательный отрывок, взятый из «Исповеди» Святого Августина, где святой описывает свое смущение при виде Святого Амвросия, погруженного в чтение: сидит в комнате человек с книгой и читает, не произнося слов. «Этот человек переходил непосредственно от письменного знака к пониманию, опуская знак звучащий. Странное искусство (...) читать про себя приведет к поразительным последствиям. Оно приведет, по прошествии многих лет, к идее книги как самоцели, а не как орудия для достижения некоей цели». Это приобретало в глазах святого характер необычайности, учитывая привычку его современников читать вслух, в присутствии слушателей, дабы «умерить или избежать недостаточность рукописных текстов». Недостаток, который будет позднее преодолен благодаря изобретению Иоханна Гутенберга, позволившему размножать написанные тексты.

Изменению структуры речи от устного слова к письменному противостояли другие, умственные препятствия. В «Федре» Платон сравнивал книги с нарисованными фигурами, которые «кажутся живыми, но ни слова не отвечают на задаваемые им вопросы». Недостаток, преодоленный философом при помощи приема «философского диалога». С преимуществом, данным нам современностью, мы могли бы наблюдать, что подобные фигуры не гарантировали интерактивной связи между читателем и производителем коммуникативного события — условие, которое, казалось бы, в достойной форме исследования поддерживается новыми доступами к сетям и к языкам, делающим такие доступы универсально возможными, и которое могло бы быть использовано, по мнению некоторых ученых, для возрождения устной композиции в литературных произведениях. Андре Мартине, ссылаясь на все увеличивающееся количество «говорящих машин» и соответственную звуковую передачу, в точности предвидел наме-

чающееся начало этого возрождения, уточняя, однако, что там, где подобная «устная литература» останется строго языковой (вербальной), «именно там будет находиться языковой идеал сообщения, исполняемого посредством производных знаков», в то время как неязыковые элементы «удалили бы нас от идеала, представленного графическими обозначениями отдельных черт, присущих излагаемому».

Но в чем же состоит специфичность письменного языка (или книги, рассматриваемой как его воплощение) в сравнении с устным? Опять же Мартине, осознавая, что использование языка (устной речи) вне обстоятельств представляет собой идеал, создавая исключительные условия, когда сообщение создается при помощи чисто языковых средств, отмечал, что разговор лишь изредка является независимым от обстоятельств, в то время как автор «перед лицом чистой страницы» «почти что приговорен к подчинению подобному идеалу, поскольку невозможно предвидеть все условия, в которых его послание будет получено». Если допустить, таким образом, что на форму написания сильно влияет отсутствие интерактивной связи с большинством читателей или с одним конкретным, но все же незнакомым читателем, то мы, по идее, должны легко прийти к выводу, что средства, позволяющие восполнить подобную нехватку, подходят и для изменения формы устной передачи. Но подобное наводящее страх изменение также не смутило бы нас, учитывая намного более сложную природу человеческого общения. Об этом писал Поль Шюшар в сочинении «Язык и мысль»: «Принимая во внимание, что язык — это фактор отношения и связи, соединяющей людей, неудивительно, что он помутился до шизофрении, и он является этой связью, не будучи передачей фонем, но по самой своей символической сущности, по своему значению». Он также не должен сам по себе удивлять нас, если мы приостановимся и поразмыслим над вопросом, изученным Морисом Леруа: ведь если письменность, насколько нам известно, восходит к началу четвертого тысячелетия до рождества Христова, то мы на протяжении всего двух с половиной тысяч лет обладаем таким богатым и многогранным творением и в любом случае «эти несколько тысячелетий составляют лишь очень маленькую часть человеческой истории и позволяют приблизиться лишь к одной языковой стадии, которая сама по себе уже является результатом длиннейшей эволюции».

В любом случае мы должны учитывать сравнительную быстроту изменения и кажущуюся относительность его инженерной эволюции, которые смешивают порядок объяс-

нений сущности языковой эволюции такими учеными, как Джакомо Девото, который, признавая механический и слепой характер эволюционных сил, тяготеющих к некоей «коллективной тенденции», все же придавал значение осмысленному влиянию сознательной силы в литературных произведениях художников и писателей. Но подобные характеристики изменения подвергают сомнению даже результаты исследований таких психологов, как Э. Делакруа, по мнению которого «эволюция языка, хоть и является по большей части механической, все равно зависит от требований значения», или более старомодные утверждения Н. Марра, который, полагая, что язык тесно связан с комплексом человеческой деятельности, считал процессы развития и эволюции языка в недрах общества, безусловно, очень медленными.

В настоящее время именно технологические характеристики средств коммуникации диктуют нам ее время и форму, вне зависимости от «требований значения», освобождая его от «влияния (любой) сознательной силы». В то время, как остается до сих пор неясным, связаны ли изменения языка, даже немедленные, с комплексом человеческой деятельности, еще один неясный элемент представлен психологической и экономической характеристиками в пределах внимания потребителя/пользователя новых инструментов доступа к сетям. Тем не менее, кажется сразу ощутимым переворот, еще незавершенный и противоречивый, в отношениях между сознательной силой писателя и абстрактным миром его неизвестных и потенциальных читателей, отношений, которые устанавливаются между индивидуумом — пользователем сети и недифференцированным миром коммуникации.

В то время, как книга сознательно переносила свою конфигурацию на объект познавательного исследования, познавательный мир сети сегодня представляется как протезное распространение индивидуума, поддерживаемое новыми технологиями. В трудах Галилея вселенная сравнивается с огромной книгой: «Философия изложена в той огромной книге, которая постоянно открыта у нас перед глазами (...), но которую не понять, если сначала не выучить язык и не знать букв, которыми она написана». Сегодня сеть заменяет собой не книгу, но всю вселенную, предлагая себя в качестве более доступного суррогата.

Что мы, таким образом, имеем в виду, торжественно предсказывая исчезновение книги? Что пришел конец вселенной? Что огромная книга более не открывает нам написанных страниц? Или что притупляется наша способность к чтению в то время, как мы торжественно возводим Вавилонскую баш-

ню из чужих слов, из кристаллов, составляющих рисунки, символы, коды, созданные не нами, но отражающие несоразмерность нашего представления о вселенной?

Перед лицом диспропорции темы представляется более приемлемым анализ судьбы литературного произведения, интерпретированного как сознательный фактор языковой эволюции, даже отходя от концепции Малларме, введшей своего рода эстетическое оправдание исторических событий, и не снисходя до недостаточных технических терминов, при помощи которых литература могла бы быть интерпретирована как чистое равновесие между плотностью информации и восприятием читателя, а уже не в терминах «акта исторической солидарности», как утверждает Ролан Барт.

Именно происходящее изменение придает актуальность размышлениям Барта о «трагическом неравенстве» между тем, что писатель видит и тем, что он делает, в то время как перед его глазами мир формирует новую Природу, которая говорит и создает языки, недоступные ему, поскольку он вынужден барахтаться среди «дедовских и всемогущих знаков, которые из глубины чуждого прошлого навязывают ему Литературу как ритуал, а не как примирение». Настоящее положение автора представляется, впрочем, более связывающим, чем предсказанное Бартом, принимая во внимание непригодность пути бегства, выражаемого в поиске некоего не-стиля или «устного стиля», или, как его называет Барт, нулевой степени письма, предвестницы абсолютно однородной стадии общества. Недостижимость универсального языка, основанного на универсальности (не мистической и не номинальной) цивилизованного мира, делает тщетным разлад языков и цель литературного письма, колеблющуюся между отчуждением Истории и мечты и интерпретируемой как «языковая утопия».

Похоже, смерть, которую мы собираемся констатировать, относится не столько к книге, сколько к письменности как «функции» или как отношению между поэтическим созданием и обществом, либо как языку, трансформированному своей социальной судьбой. Это подтверждается чрезмерным изобилием названий книг, выставленных в магазинах, что, казалось бы, не подтверждает идею об их быстром угасании и о побочном использовании сети. В Европе было подсчитано, что количество доступов в сеть по сравнению с ее потенциальными возможностями достигает лишь скромной цифры в два процента. В то время, как оптимистические ожидания создания рынка, заинтересованного в приобретении

«информационных» предложений одновременно с технологической эволюцией продукции сталкиваются с тем, что в среде экономистов принято называть «порогом внимания» потребителя. Формирование нового языка, характерные тенденции которого, казалось бы, ориентированы на своего рода «интерактивную устность», оказываются, таким образом,

никак не связанными с сознательной ролью письменности и оторванными от своей социальной судьбы. В сущности, мы являемся свидетелями создания языка, который не интерпретирует вселенную и не отражается в ней, а который заменяет ее, предлагая себя в «естественной» форме, лишенной способности развенчания, присущей письменности.